

*Е. А. Иваненко
М. А. Корецкая
Е. В. Савенкова*

**Текст по-пластунски
или соль, спички и томик Делеза**

I. Ходят слухи, что в здоровом теле — здоровый дух

Вопрос о том, как привести мысль в движение, является одним из тех безнадежных вопросов, которые задаются в гулкую пустоту усталого ума. Самоотверженный интеллектуал, не сдавая позиций, скрюченный над своим рабочим местом в бесплодных потугах родить хоть что-то мыслеобразное, готов принять какую угодно позу, что угодно вовнутрь, лишь бы привести мысль если и не в движение, то хотя бы в беспокойство. Но тщетно, голова остается торжественно пустой, а вопрос о том, как привести мысль в движение, остается без ответа, во всяком случае, пока мысль не придет в движение сама.

Но на каком основании мы вообще можем говорить о «движении» мысли, ведь движение — это характеристика физических объектов, изменение их положения в пространстве или во времени? Руководствуясь этим принципом, еще Аристотель утверждал, что Ум неподвижен. Однако, назло Стагириту, опыт интеллектуала складывается из переживания движения мысли и несовпадения с ним, с движением. Собственно, мы знаем, что мысль движется на основании того, что частенько от нее отстаем, а порою совпадаем с ней. Если следовать этой метафоре, то интеллектуал все силы тратит на то, чтобы идти вслед за мыслью, преследовать ее, таким образом, его профессиональный навык состоит в том, чтобы владеть искусством перемещения.

Следует ли отсюда, что мысль телесна? Сама мысль — вряд ли, однако она нуждается в теле, как в пространстве для перемещения, и в этом смысле она зависима от него. В мысли всегда слишком много следов трансформаций тела; каким-то образом опыт тела, выброшенного на собственные границы, способен влиять на движение мысли, провоциро-

вать ее и одновременно служить для нее материалом. Пожалуй, пришло время пояснить, что здесь понимается под телом. Тело здесь — это пространство риска, единственный имеющийся в нашем распоряжении полигон для испытания границ. Потому было бы некорректно отождествлять его только с физиологией или чувствующей поверхностью. Собственно, поверхность становится чувствующей благодаря риску нарушения или утраты границ, то есть, через свою уязвимость. Человеческая телесность (а только о ней и идет здесь речь) знает не только целые реестры рисков, выстроенных в иерархическом порядке (уязвимым может быть не только «есть», но и смысл этого «есть»), но и способна относиться к ним, нарочито «идти на риск» с целью получения, например, эмоциональной отдачи.

Границы тела можно охранять или можно пренебречь ими: в любом случае ими приходится распорядиться. Воля так или иначе распорядиться границами производит определенность того, что обычно именуется субъектом. Таким образом, можно говорить о формах субъективации, как о нюансах возможного управления телом. Время требует, чтобы границами тела распорядились согласно случаю — неповторимому набору микро- и макродетерминант, которых в каждый момент времени так много, что тело просто не успевает осуществить ре-акцию на каждый импульс и потому вынуждено подменять простые сцепления ре-акций сложной конструкцией практики, которой заведует субъект. Тело во времени подвержено чередованию различных практик и находится в распоряжении целого множества различных субъектов, которые передают друг другу должность распорядителя согласно механизмам, отработанным привычкой. Такого рода поли-субъектность не противоречит состоянию самоидентифицированности, характерной для привычки, поскольку в каждый момент времени тело «знает», что у него есть один ответственный распорядитель, некое «Я», функционер.

Однако тело способно испытывать состояния, когда субъект не успевает (не может?) вступить на свою вахту. Нечто, некое событие «X», способно произвести сбой в администрировании и заблокировать передачу и осуществление власти. Такое подвешенное состояние, когда один субъект выбит из седла и просто нет другого, подходящего, который

мог бы занять его место в данной ситуации, можно назвать состоянием *yesbody*¹. В этот момент актуально только тело, которое самостоятельно, поскольку его границы предоставлены самим себе, в том смысле, что с ними происходит что-то, к чему невозможно применить практики администрирования. В состоянии *yesbody* неуместно говорить о субъекте, это не «некто»; но и, с другой стороны, не «никто», — остается само «кто?», это тот «кто», за чей счет все происходит. «Кто» выступает в роли чистого пространства, а вернее сказать, места — он не предоставляет ничего кроме себя, в качестве поля для перемещения и разворачивания состояния *yesbody*. В этом смысле *yesbody* — это чистый предел субъекта. Кстати говоря, именно благодаря такого рода состояниям интеллектуал может сказать: «мысль — моя», поскольку она осуществлена за мой счет, хотя теперь и не принадлежит мне.

Переживание *yesbody* — это риск как таковой, поскольку оно ставит под угрозу саму определенность, заставляя переживать свои границы как чужие, не связанные с нашими субъектными представлениями о себе. Субъект оказывается всегда безнадежно меньше своих ожиданий. Здесь уместно вспомнить о кантовском чувстве возвышенного: субъект, поставленный лицом к лицу с величественным зрелищем, неизбежно осознает свою о-пределенность на фоне бесконечно возвышенного пейзажа. Восприятие возвышенного чревато выявлением ранящего несоответствия между мной и моим собственным чувством: я всегда недостаточно велик для него.

¹ Сам концепт *yesbody* авторы данной статьи заимствуют у П. Слотердайка, вполне отдавая себе отчет в том, что у него этот концепт располагается в ином контексте, а потому имеет несколько иной смысл. «Сознающий себя и уверенный в себе Никто в нас — тот Никто, который обретает свое имя и свои идентичности только со своим «социальным рождением», — и есть то начало, которое является живым источником свободы. Полный жизни Никто — это тот, кто, несмотря на мерзости социализации, заставляет вспомнить об изобилии энергии, скрытом под личинами личностей. Его жизненная основа — сознающее себя и уверенное в себе тело, которое мы должны называть не *nobody*, а *yesbody*, не «нет-тело», а «да-тело»... (Слотердайк, П. Критика цинического разума. — Екатеринбург : изд-во Уральского ун-та, 2001. — С. 103).

Но просвещенный кантовский субъект в этой уничтожительной обстановке способен хотя бы сохранить лицо, находя радость в том, что именно он при всем своем несовершенстве способен вместить в себя это чувство, тогда как постмодернистский субъект лишен даже этой радости, поскольку он существует в тени подозрения, что ни одно из своих чувств он не может считать своей способностью. Ведь что значит, что чувство возвышенного реализуется за его счет? Это значит, что, когда оно осуществляется, самого субъекта тем самым уже нет. Это объясняет, почему современный субъект существует в полупридушенном состоянии, придавленный комплексом неполноценности и взлелеянным чувством вины.

Состояние *yesbody*, как и любое другое состояние, нуждается в извлечении — в этом случае оно становится опытом, а не просто переживанием. Можно сказать, что мысль, зафиксированная в тексте, — это один из способов извлечения опыта *yesbody*, наряду с другими видами произведений. Поскольку для состояния *yesbody* характерна бессубъектность, то и извлеченный опыт-мысль, по сути, подрывает саму структуру опыта. Таким образом, мысль оказывается невозможным опытом. Между бессубъектной мыслью и субъектом простирается текст, как совокупность следов-троп, проторенных телом в процессе перебежек из бессубъектного состояния в субъектное и обратно. В тексте можно обнаружить следы как жестких директив субъекта по отношению к самому себе, так и полностью неуправляемые, «телесные» образования — сгустки текста — порой непроницаемые для анализа, зато прекрасно способные производить состояния *yesbody* по своему поводу.

Безудержная, всеобъемлющая энтропия охватывает интеллектуала тем больше, чем больший объем опыта ему удалось вынести из состояния *yesbody*. Как только вспышка озарения гаснет, натренированная память интеллектуала судорожно кидается на тающие осколки события, пытаясь досконально запечатлеть то, что запечатлеть невозможно. Память на пределе возможности снует меж бесконечно и безнадежно удаляющихся элементов, пытаясь своим наличием восстановить единство события. В какой-то степени это удастся — событие существует как целое только за счет усилий памяти; траектория памяти оказывается тождествен-

ной по играемой роли времени события, нулевому времени *yesbody*. Это не подмена одного события другим, это практика возгонки мысли, которая, следуя указанной траектории, способна вновь совершить качественный скачок и вовлечь все в новый взрыв сверхновой. Но скачок может и не произойти.

Yesbody, существующее в памяти, — это благороднейший из материалов для анализа. Интеллектуалу современности незазорно посвятить всю свою жизнь анализу одного единственного события, осуществляя все движения мысли по его поводу. Да-тело! Согласие *yesbody* требует от тела многого — точнее сказать, всего, ресурсы тела подвергаются критическому удару — предел мысли ощущается пределом тела, а предел тела, в свою очередь, понимается на границе мысли. Приходящий в себя субъект ошарашенно понимает свою определенность в этот зыбкий полумиг между *yesbody* и *nobody*. Но всегда уже поздно, и вот в итоге субъект чувствует себя как герой одной сказки: он, как Федот Стрелец, должен «идти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что». Едва ли Царь Горох хотел просветить Федота Стрельца об особенностях мышления, но формулировка целеполагания без цели у него удалась весьма неплохо. Субъект ощущает жесточайшее долженствование, он непременно должен двигаться, но к чему? Не известно. Во имя чего? Это понятно. Всякий интеллектуал испытывает моральный долг по отношению к *yesbody*, мы почему-то должны этому всеобъемлющему событию. Это долг первостепенной важности, и все мы чувствуем себя предателями, когда, не написав ни строчки, мы перемещаемся из состояния озарения в сумеречное состояние повседневной жизни.

Над нами всегда нависает страх чистого листа — нам страшно начать текст. Но кто боится и почему? Это животный ужас тела, которое на самом деле отнюдь не хочет «вечности творения», так как его стихия «сейчас привычки». Тело всегда слишком усталое для этих фокусов — оно охраняет свои границы изнутри своей апатии. Кроме того, есть еще страх субъекта, который тоже должен действовать вопреки своей структуре — приносить себя, свою определенность в жертву. Следует воздать почести субъекту в наш постмодернистский век — он единственный, кто способен вытолкать

тело на плацдарм дисциплины. Только субъект властен схватить тело за шкуру и бесцеремонно бросить его за письменный стол, не взирая на поздний час и усталость. Более того, только многовековая философская муштра способна заставить субъекта совершить и над собой харакири — то есть применить и к себе те процедуры пытки, которые он навострил применять к вещам. Этот героизм беззаветен, так как он ничего не гарантирует — состояние *yesbody* требует гибели субъекта, но никак не может быть ей гарантировано. Сколько субъектов растрачено впустую! На полях каждой книги — горы безымянных субъектных трупов. Субъект, бросающийся без страха и упрека на подвиг текстописания, похож на того человека Ницше, который «блажен, поскольку желает своей гибели!». Однако парадокс в том, что, умирая, субъект как форма не может умереть окончательно, раз и навсегда, ведь без его дисциплины не будет ни *yesbody*, ни текста. Потому можно предположить, что постмодерн нуждается именно в *умирающем* субъекте (так же, как в умирающем Боге), а не в субъекте *мертвом*.

Так что же тогда такое текст? Вот один на поле битвы стоит интеллектуал, вытолкнутый в добровольцы своей коварной способностью морального суждения. Он замер в тщетной надежде, что его не заметят агрессивные глаза чистого листа. Наконец, он совершает первое неуклюжее движение. Дальше — проще. Память, изо всех сил стягивающая ускользающее событие, услужливо предлагает множество траекторий движения между осколками, предлагает их все разом, как спутанный клубок. Задача пишущего — вытянуть нитку линейного повествования. Тяжкий труд интеллектуала по распутыванию клубка — терпеливый или нет, аккуратный и последовательный или рваный и напористый — вот чем является текст. Текст должен быть разложен, словно ловчая снасть, так, чтобы при чтении\письме в него можно было бы вновь уловить событие *yesbody*. И вот интеллектуал совершает ряд действий, подвергая рефлексивной редукции нагромождение материала, предоставляемого памятью, с неизбежностью мирясь с несовершенством анализа и вынужденный действовать на виду у самого себя. В результате этого стыда и смирения рождаются авторские стратегии. Интеллектуал, слабея, пробивается сквозь поле битвы, где, в об-

щем-то, нет никого, кроме него и его инертности. Текст вытягивается цепочкой следов, все дальше, дольше... Мы же, пока пишем, гонимся и стремимся дотянуться (ведь осталось еще чуть-чуть!). И вдруг! Текст дописан, а мы уже безнадежно на него опоздали. И тело, которое вроде было заодно с интеллектуалом, досадным образом совершает диверсию. Хитрое тело берет на себя роль критика: «Мол, нет даже смысла идти дальше; все, мы заблудились; я не могу». Удивительная вещь — субъект сам не замечает, как способность решать «могу» — «не могу» поселяется в теле, укореняется в нем и звучит как его собственная, телесная прерогатива. Все, субъект сник и сломлен. Тело же по имени Иванов радостно бросает писанину и идет обедать. Это сиюминутное торжество тела может оказаться перманентным, если субъект сам сдает свои позиции под видом полной обессиленности, поддавшись заветным аргументам тела — старость, болезнь, занятость, и превращается в ноющего субъекта, способного только сетовать на свою нелегкую судьбу. Битва телу может быть проиграна, как это ни странно, только по воле субъекта.

Само тело больным не бывает — это условность идентификации. Во всяком случае, болезнь — это не объективное положение дел, с однозначностью ведущее к невозможности работать. Известно, что болезнь может стать временем досуга для мышления и даже источником вдохновения; так что лозунг «в здоровом теле — здоровый дух» звучит для интеллектуала с изрядной долей сарказма. В болезни (как и в здоровье) важно соблюдать меру — здоровый образ жизни не должен мешать, равно как и больной. А это повод для неустанной заботы о себе. Тотальная бдительность сближает интеллектуала с параноиком: бесконечно боясь глупости, желая не допустить агрессии маразма, интеллектуал отслеживает даже малейшие ее признаки, постоянно находясь в ожидании собственного заката — даже то, что я написал вчера, не гарантирует меня сегодня². Речь идет о формировании

² Интеллектуал, чтобы оставаться собой, должен постоянно испытывать свои границы, разрушать самотождественность, вплоть до того, что избегать соблазна позиционировать себя в качестве интеллектуала. Ничто, никакой запас знаний и заслуг, не гарантирует статуса интеллектуала, интеллектуал — это только должен-

особого чувства самосохранения — во имя своей ментальной подвижности интеллектual способен пресечь даже собственное существование, буде оно явится препятствием для движения мысли. Интеллектual, заботясь о себе, особым образом организует свое тело: оно должно наиболее чутким образом реагировать на условия, в которых с наибольшей вероятностью возможно состояние *yesbody*. Забота об интеллектualном теле означает не его экономию, с целью накопления, но, напротив, интенсивную и целенаправленную растрату. Намыслеобразование и написание текста расходуются сам автор, его время жизни, его тело, его способность чувствовать и вся его совокупность опыта; можно сказать, что текст угрожает жизни, так как интеллектual пишет ради «другой жизни», большей по степени интенсивности. В результате такой жесткой муштры тело интеллектuala научается «неестественным» навыкам — существовать в режиме регулярного стресса, да еще и держать дистанцию к нему, подпитываясь стрессовой энергией и расширяя при удобном случае свои границы. Здесь вступает в действие политический закон — чем шире границы — тем больше риск. Однако и ресурсы больше. Интеллектual испытывает границы своего тела особым образом — проблематизируя их, что является профессиональной провокацией опыта *yesbody*. В этом смысле, интеллектual это — естество-испытатель, поскольку он испытывает свое собственное «есть». Между нами говоря, профессию интеллектuala давно пора занести в группу профессий повышенного риска!

И вот теперь тело интеллектuala по полной программе «участвует» в поиске *yesbody*, оно ждет, когда его покормят «вкусным перфектом». Ради этого, и только ради этого, порченное тело интеллектuala соглашается бросить любимый распорядок дня и податься на рискованную авантюру мыс-

ствование. В этом смысле можно быть эрудитом, но быть интеллектualом нельзя. Эрудит хранит знания в огромных количествах, он управляет ими, архивирует и систематизирует, но никогда ими не рискует, а потому и не производит ничего нового — если не считать новым перекомпоновку. Эрудит никогда не рискует собственными границами, он их бесконечно растягивает. Короче говоря, эрудит — это то, чем интеллектual пугает себя на ночь.

лительного процесса или текстописания. Ради даже призрачного намека бегающих мурашек и выпученных от приизбытка понимания глаз тело способно инвестировать свои нештучные ресурсы в мыслепроизводство, вещь такую, казалось бы, избыточную для нормального функционирования тела. Но тело интеллектuala порчено заразой мысли и испытывает серьезнейшую зависимость от ощущения полноты смысла. Скольких хандрящих, впавших в безнадежную вялость интеллектualов спасла от всех недугов вовремя пришедшая мысль! Натренированное тело интеллектuala чует яркую мысль порой задолго до того, как интеллектual дотумкает до нее своими рассудочными способностями, и зачастую именно телесный импульс является триггером взрыва мысли. Потому интеллектual тем больше доверяется интенциям своего тела, чем в более безумные провокации толкает его оно в поисках внештатных ситуаций (залезть на крутую скалу, потому что оттуда видно закат). Заботясь о себе, интеллектual на договорных основаниях позволяет телу устанавливать свой собственный распорядок дня, зачастую резко отличающийся от привычных представлений о здоровом образе жизни. Так, интеллектual может себе позволить вставать в 4 часа дня, но и ложиться спать не раньше зари, есть невесть что или вовсе не есть сутками, если мысль пошла; тратить свои (немногие) деньги на чудачества, буде они способны заманить вдохновение. И горе тому интеллектualу, которого заботливые близкие призовут к порядку³! Так что внешняя

³ История знает много примеров, когда нарушение привычного распорядка дня мыслителя, иногда из самых благих побуждений, приводило к печальным последствиям. Так Федоров, который всегда, даже зимой, ходил пешком и в одном пиджаке, умер от простуды, подхваченной в тот момент, когда его сердобольные ученики одели его в теплое пальто и посадили в карету. Причиной смерти Рене Декарта стало расписание, навязанное шведской инфантой, желавшей видеть своего учителя у себя не позднее 7 утра; и это при том, что сам Декарт любил просыпаться в полдень и до 2-3 часов предавался раздумьям, не вставая с постели. Что уж говорить о Канте и его распорядке, если весь Кенигсберг сверял по нему часы! Если бы Кьеркегор изменил свой образ жизни, то он, возможно, стал бы чиновником, но уже не был бы Кьеркегором.

нестройность и безалаберность интеллектуала — это не следствие слабости или несобранности; напротив, это особая дисциплина. Не каждый выдержит валяться в постели с книгой до полной победы или жить в перманентной осаде бумаг и книг, кочующих по всем горизонтальным поверхностям квартиры (как правило, близкие этого не выдерживают!). Важно при этом сохранять бдительность и за «мусором» не прохлопать светильники вдохновения, и не подменить их электрическими фонарями.

II. Нормальные герои всегда идут в обход

На проблему искусства перемещения можно взглянуть с другой стороны. Всякий раз, когда интеллектуал пишет текст, он вынужденно соотносит себя с имеющимся ландшафтом: совокупностью всех неровностей и условий перемещения, существующих в конкретный момент, взятый в синхроническом срезе сколь угодно широко. Между «эпохальными» стилистическими особенностями текстов и способами телесных перемещений, существующих в культуре, определенно прослеживается некая связь. Немецкие марши отчетливо звучат в текстах Гегеля, а кантовские прогулки находят аналогии в стилистике Критик.

Сегодня, к сожалению (или к счастью?), интеллектуал не может себе позволить ни прогулок, ни маршей, ни хайдеггеровской укорененной оседлости. Сегодня интеллектуал как никогда мобилизован — ведь он находится на Посту Модерна. Неважно, что этот пост был учрежден полвека назад, его то ведь никто не отменил до сих пор! А потому не время прогуливаться, когда война идет! Но и маршировать не время — война-то ведь потайная. В ситуации, когда смещены все идентичности, никто не знает толком: кто против кого. А потому доминирующий стиль перемещения интеллектуала — разведка. В данном случае феномен разведки связан с тем, что потеряна линия фронта. Задача заключается в том, чтобы ее обнаружить и еще, при этом, остаться целым. И вот наш интеллектуал-разведчик ползет себе по-пластунски среди объектов, каждый из которых представляет собой потенциальную угрозу. В этом нехитром занятии интеллектуал обретает определенную уверенность — раз ты ползешь по-пластунски, то, конечно же, ты переползаешь границу, зна-

чит, есть граница и есть враги. Цель разведки — выявление актуальных точек, очагов культуры (обнаружить, теплится ли где-нибудь хоть что-нибудь тогда когда, поумирали все, от Бога до Субъекта). Искусство разведчика состоит в том, чтобы остаться незамеченным, но при этом заметить много интересного. Но разведчик — это не наблюдатель (и не герой), он полностью включен в действие, знает об этом, но, в отличие от героя, вынужден мимикрировать, погружая себя во внеаходимость. Искусство перемещения интеллектуала-разведчика совпадает с искусством перевоплощения, или развоплощения — становления ландшафтом. Он не может сказать гордо: «Иду на Вы», его удел — перемещаться по-пластунски в маск-халате с окрестной зеленью на голове. Говоря к слову, в таком военном случае все пространство культуры предстает как поле с кустами, и интеллектуалу ничего не остается, кроме как подавать все как *искусство*, то есть внимательно выглядывать *из кустов*.

Что угрожает интеллектуалу, пишущему по-пластунски? В строгом смысле, информационная картель не грозит сама по себе, информация как пуля — дура, и ни за кем не охотится специально. Важно под нее не подставляться. Интеллектуалу грозит либо страх, либо любопытство. Ведь если не веруешь в войну, то обязательно высунешься, тут-то она тебя и накроет! А если долго и удачно полз, посещают сомнения в реальности войны.

По правилам классической разведки, добытые данные положено доставлять в штаб, и эта сверхзадача объясняет императив самосохранения разведчика. Но сегодня ситуация не просто неклассическая, а даже совсем постнеклассическая. А правил для постнеклассической разведки в связи со смертью автора никто не писал; еще Лиотар оповестил в доходчивой форме, что все штабы метанарративов распущены. Куда нести с трудом добытые сведения? Что собирать в качестве таковых? Вот вопросы, которые висят над интеллектуалом как дамоклов меч, грозя обрушиться на него хаос информации. Ведь если интеллектуал идет в разведку без четкого задания (а откуда его взять в наши скудные времена), то он будет вынужден с великим тщанием собирать сведения не только о вражеских танках, но и о кустах, мышинных норах и курятниках, тем более что в ситуации полной

вражеской неопределенности в мышинных норах и курятниках может таиться самая серьезная опасность. Если фиксировать все, и не просто все, а Все, наш разведчик рискует не проползти и метра! Ответственный разведчик в столь безответственное время сам себе создает штаб, сам себе составляет из доступных фрагментов фоторобот врага (*фаллологотеоцентризм*, например), сам себе отдает приказы, сам рискует их выполнять и сам с себя взыскивает строжайшим образом в случае невыполнения собственных директив. Вот тебе, бабушка, и забота о себе!

Собственно, ничто не мешает разведчику упасть в ближайших кустах и забыться в приступе графомании. Настырно ползет тот, кто желает сохранить право авторства (даже, порой, втайне от самого себя). Ползти по-пластунски — значит расплываться по ландшафту, оставлять след всем своим телом, след страха за себя, абсолютно человеческий след. Текст в таком случае являет собой отпечаток всей внешности, ползти по-пластунски — значит запечатлеть весь «рельеф» ползущего интеллектуала. Текст — тропа, вминаемая собственным телом в поле культуры, вносящая микроизменения в макрорельеф эпохи.

Вот, собственно, и все. Такова военная сводка на текущий момент. Свои координаты сообщить не можем, поскольку точно не знаем, где мы. Мы, собрав свой боевой паек — соль (чтобы посыпать раны), спички (чтобы зажечь светильники вдохновения) и томик Делеза (маленькая прихоть для удовольствия), ползем дальше. По привычке хочется сделать выводы, но выводов не будет, поскольку вывести некуда, везде война идет. Кажется...